

ДИНА РУБИНА

Маньяк Гуревич



Москва

> МАГИСТРАЛЪ >

ДИНА РУБИНА

Маньяк Гуревич



Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р82

Оформление серии *Натальи Портяной*

Рубина, Дина.

Р82 Маньяк Гуревич / Дина Рубина. — Москва :
Эксмо, 2025. — 512 с. — (Магистраль. Главный
тренд).

ISBN 978-5-04-211494-6

Роман «Маньяк Гуревич» не зря имеет подзаголовок «Жизнеописание в картинках» — в нем автор впервые соединил две литературные формы: протяженный во времени роман с целой гирляндой «картинок» о докторе Гуревиче, начиная с раннего его детства и по сегодняшней день, — забавных, нелепых, трогательных, пронзительных, грустных или гомерически смешных. Благодаря этой подвижной конструкции книга «легко дышит». Действие мчится, не проседая тяжеловесным задом высокой морали, не вымучивая «философские идеи», не высиживая героев на котурнах, чем грешит сейчас так называемая «серьезная премиальная литература». При этом в романе Дины Рубиной есть и глубина переживаний, и острота ощущений человеческого бытия.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Д. Рубина, текст, 2022
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2025

ISBN 978-5-04-211494-6

Мысль написать такую вот светлую и тёплую книгу о трогательном, хотя и нелепом в чём-то человеке пришла мне в начале тягостных месяцев проклятой пандемии. Я вдруг поняла, что читателю и так тяжело дышать, и так тесно жить; что его и так сейчас сопровождают болезни, горести и потери; читатель инстинктивно ищет в мире книг такое пространство и такую «температуру эмоций», где он мог бы не то что спрятаться, но войти и побыть там, легко дыша, пусть и грустя, но и улыбаясь.

Я поняла, что не хочу навешивать на своего читателя вериги тяжеловесных трагедий, и — главное — не хочу убивать своего героя. Нет, пусть, сопереживая ему, читатель вздыхает, смеётся и хохочет — так же, как мы сопереживаем, читая прозу О'Генри, Гашека или Джерома, — хотя, знаем, что жизнь человеческая полна разного рода невзгод и даже смертей. Я намеренно создавала образ человека любящего, трогательного, порядочного, а на каких-то поворотах судьбы отчаянно смелого и даже странного, отчего он не раз заслуживает от окружающих прозвище: «маньяк».

Дина Рубина

Владимиру Гамерову

Часть первая
ДЕТСТВО ГУРЕВИЧА

Родимая обитель...

Семья была врачебная, и это определяло всё — от детских игр до трагической невозможности нащёлкать градусник до тридцати восьми. Но с мамой и не забалуешь: резкая, властная, она каждому воздавала по заслугам и мнения при себе не держала: если сделал что-то умно и ловко, это у неё «нормально». Если плохо, пеняй на себя. Спросит только: «Ты идиот или прикидываешься?» «Нет, я не прикидываюсь», — возражал торопливо сын. Перед мамой всегда хотелось немедленно оправдаться.

Работала она в женской консультации № 18 при Октябрьской железной дороге. Проводницы, буфетчицы, билетёрши и контролёрши — весь женский железнодорожный состав — были её пациентками. Всё трудные советские судьбы, израсходованные советские тела.

«Суть маминой профессии, — заметил как-то папа, — увы, далека от поэзии».

12 «Суть твоей профессии, — немедленно отбила мама, — поэтичной тоже не назовёшь».

Папа, врач-терапевт, работал в психиатрической больнице. Был он красавец, романтик, член Пушкинского общества; всего Пушкина знал наизусть, а взятки брал только книгами.

Работали оба на полную ставку, и потому маленький Сеня рос, как трава, — по телефону. Родителей видел редко, но слышал почти постоянно:

— Почисть картошку... Почистил? Порежь её кубиками, и с ножом там осторожней, без идиотских штук... Теперь набери в кастрюлю воды, примерно до середины...

Одной рукой мама держала телефон, а что там делала другой рукой, можно только вообразить. Как и многие медики, родители не слишком заморачивались иносказаниями, обсуждая при сыне трудные врачебные случаи, так что поначалу смутно, затем всё детальнее Сеня представлял панораму их профессиональных будней.

Когда сын простужался или выходил на каникулы (то есть когда маячил перед ним худосочный призрак маломальской *свободы мысли и воображения*), мама говорила: «Балду пинать?! Нет уж, дудки!» — и забирала Сеню с собой на работу. Там она его нагружала каким-нибудь медицински полезным делом: выдавала почковидный тазик, полный щепками, и Сеня эти щепки строгал перочинным ножиком. Затем наматывал на них тонким слоем вату — получались палочки для вагинальных мазков.

Мальчик трудился, он любил простую артельную работу: сиди-строгай, двумя пальцами вытягивай из комка ваты тонкую дорожку, наматывай её, думай о чём хочешь. Это и есть *свобода мысли и воображения*.

Веер вагинальных палочек в металлическом стакане — привычная с детства картина...

...Бывало, и папа брал его с собой на работу, и это было куда интересней.

Городская психиатрическая больница № 6 размещалась на территории Александро-Невской Лавры. Сеня с папой выплывали из-под земли, от метро брали вправо, переходили Невский у самого-самого последнего дома и по узкой дорожке (серый зернистый асфальт, щербатые поребрики) шагали между некрополей в ручейке очень странных людей: семенящих старушек в чёрном, юношей с распущенными, как у русалок, власами, мужчин в длинных чёрных платьях.

Давным-давно папа объяснял, что дамские мужики — это священники, а патлатые юнцы-русалки — их студенты.

Дальше — мост через речку Монастырку, и вот она, Лавра.

Летом за воротами Лавры очень красиво: всюду розы, розы... В их спутанной багряно-белой волне утопили всеми позабытые (даже буквы стёрлись!) могильные камни.

Но ручеёк чёрных старушек, женщин в косынках, длинноволосых юношей струился даль-

14 ше, к самому сердцу Лавры — Свято-Троицкому собору. На православные праздники здесь собирались толпы верующих. Мощный и невесомый одновременно, он царил над купами деревьев, над мраморными и каменными надгробиями, над речкой и кустами-цветами...

Папа никогда не упускал случая втемяшить сыну какую-нибудь историческую или архитектурную дребедень: «Видишь, — говорил, — шлем купола тяжёлый, лежит на подпорке такой с шестнадцатью окнами, называется «барабан». У папы спрашивать что бы то ни было просто опасно: тебя занесёт пургой непонятных слов, сам не рад будешь, что спросил. И от стихов не отобьёшься, зажужжит роем пчёл:

*Когда великое свершалось торжество
И в муках на кресте кончалось божество,
Тогда по сторонам животворяща древа
Мария-грешница и пресвятая дева
Стояли две жены...*

Как это — две жены? Бабушка Роза говорит, что порядочный человек худо-бедно обходится одной женой. Вот у папы худо-бедно — мама, у деда Сани — бабушка Роза. Может, кто-то шустрый хапнет сразу двух жён и хвастается: а у меня, мол, их целых две, не худо и не бедно!

Их путь пролегал через всю территорию Лавры. Если не слишком торопились, они заглядывали в любимый уголок: от стены храма влево бежала дорожка к заброшенному кладбищу. Здесь в центре позабытого всеми некрополя высилась башня:

тоже всеми заброшенная и позабытая, грустная заколоченная церковь. Обойдёшь её, а там — спуск к совсем уж деревенской речке, где плавают утки, а в высокой сочной траве по берегам — брызги жёлтых одуванчиков. И шмели гудят, и зеленова-то-белых капустниц ветерок носит, как на даче. Прямо не верится, что это — центр города.

Среди старинных склепов, каменных ваз и крестов с выбитыми на них полустёртыми буквами можно ходить часами, осторожно пробираясь между надгробиями.

— Не наступай на могилы, — каждый раз напоминал папа, — уважай покой мёртвых. *Решётки, столбики, нарядные гробницы, Под коими гниют все мертвецы столицы...*

А вот главное: над изгибом речки, на откосе стоит полуразрушенный склеп с башенкой — окна запylённые, в паутине, кое-где даже разбитые. Сказочный домик крепко уснувшей, да так никем и не разбуженной Спящей Красавицы.

Но под решётки окон кто-то подсовывает маленькие пластмассовые розы; иногда придёшь — а там новые. Это усыпальница Анастасии Вяльцевой, старинной певицы такой. Папа рассказывал, что до революции к её ногам *бриллианты бросали*, слава гремела по всей России, а умерла она совсем молодой, от чахотки. Мама говорит, тогда все от чахотки умирали: ноги промочил, вот тебе чахотка. Ну и забыли её совсем, тем более что романсы уже не в моде. Хотя приходит же кто-то, цветы приносит...

16 Однажды зимой они видели протоптанную в снегу тропинку. Там у склепа человек стоял — бородатый, *особенный*, голову так задумчиво склонил. Красиво и печально, как на старой открытке, Сеня даже засмотрелся. «Ладно, — сказал папа, — пошли, не станем человеку мешать, пусть скорбит. ... *чтоб долго образ милый Таился и пылал в душе моей унылой...*»

Сеня спросил: «Он её возлюбленный?» — «Ты спятил? — удивился папа. — Все её возлюбленные давно в земле сырой...» Ей-богу, папа так и выражался, причём всю жизнь, посреди обычного рабочего дня. «Тогда чего скорбеть», — подумал Сеня.

Словом, Лавра — это была беспредельно-отдельная страна внутри города, которую они проходили из конца в конец, пока на задворках не упирались в глухой забор и неприметную железную дверь *папиной психиатрии*. Когда-то — духовное училище, ныне — жёлтый дом, психушка, это здание обособленно и угрюмо стояло среди высоких деревьев.

В наши дни, в эпоху террора школьных психологов, подобные посещения ребёнком сумасшедшего дома выглядят по меньшей мере возмутительными. Но Сенино детство протекало в открытом и любознательном мире прилюдных драм и мордобоев, трагических судеб, увлекательных похорон, весёлых поминок и распахнутых во все стороны детских глаз.

Сумасшедший дом был пристанищем людей необыкновенных. Папа называл их больными, но Сеня приглядывался к каждому, подмечая крошечные... ну совсем чуть-чутные признаки притворства. В целом, тут была спокойная, даже задумчивая обстановка: люди в пижамах двигались медленно, обстоятельно, казались погруженными в свои мысли. Впрочем, изредка кто-то кричал, как раненая птица, и тогда все остальные замирали и прислушивались. А того, кто криком пытался прорваться за пределы этого мирка, *брали в ординаторскую.*

— А что там с ним делают? — беспокоился Сеня. — Наказывают?

— Ну что ты, милый, — отвечал папа. — С ним беседуют. Если надо, добавляют лекарств...

Здесь у папы был свой кабинет с самой спартанской обстановкой: письменный стол, стул, кушетка, кардиограф и шкаф с историями болезней. Дверь без ручки закрывалась на «психиатрический» ключ, окно было забрано мощной решёткой.

Но за окном... Там росли старые клён и берёза. Стояли в страстном переплетении ветвей так тесно, так близко, будто муж и жена, прожившие целую жизнь: артритные, скрюченные, вечно вместе, так что и не разобрать, где кто, они будто противились расставанию. Осенью клён становился розовым, потом загустевал багрянцем и пламенел, а берёза плескалась прозрачным

18 и звонким золотом. Окно волновалось и вскипало золотом и багрецом, комната преображалась, и сама радость вскипала и ломилась в окно, торжествуя и чего-то настойчиво требуя.

Но Сене и зимой совсем не скучно было крутиться здесь целый день: он *был на подхвате*. И понимал, насколько это серьёзно: это вам не вагинальные палочки строгать.

Папа осматривал соматических больных, делал кардиограмму, потом расшифровывал её с помощью циркуля; Сеня же собирал разбросанные по всему кабинету ленты кардиограмм и вкладывал в истории болезни. Почерк у папы был совершенно невозможный, и потому он диктовал сыну даты и фамилии больных, а тот писал их на карточках крупно-разборчиво.

В присутствии ребёнка папа, конечно, принимал только *спокойных больных* — их приводили санитары. Это были замедленные, слегка потерянные люди в застиранных халатах без пуговиц и кушаков. «Почему?» — спросил как-то Сеня. «Пуговицы сожрут, на кушаках повесятся», — ответил папа. Никогда Сеня не понимал: шутливо или грустно папа объясняет такие вот ужасные вещи. Пока он беседовал с пациентом, а тот кутался в халат, покачиваясь на стуле, как метроном, Сеня скашивал глаза на тумбочку с историями болезней и вычитывал из открытой страницы нечто малопонятное, но завораживающее:

«Психический статус: двигательльно беспокоен, тревожен, ходит по палате взад-вперёд, с опаской озирается по сторонам. Даёт о себе некоторые анамнестические сведения, но не датирует основные события своей жизни, не помнит, когда окончил школу. Говорит с напором, повышает голос, речь приобретает характер монолога. Родителей считает неродными: “они только притворялись, а квартиру дал лично Сталин”. Темп речи ускорен, суждения непоследовательные, противоречивые. Сообщил врачу, что «знает 18 иностранных языков, а понимает ещё больше, имеет 6 высоких предназначений». Понижает голос, прикладывает палец к губам, со значением смотрит на врача и шёпотом произносит: “Чтобы ОНИ не услышали”. Критики к высказываниям нет».

Больше всего Сеня любил, когда папа слушал больных. Иногда папе так нравились какие-то хрипы в лёгких, что он подзывал сына, вставлял ему в уши стетоскоп и просил больного глубоко дышать. Больной старательно дышал, глядя на мальчика послушными медленными глазами, а папа спрашивал: «Ну? Что ты слышишь?» — и сердился, если Сеня не слышал ничего.

Словом, детство Сеня провёл между женской консультацией и психбольницей, строга́я щепки для вагинальных палочек или разглядывая психов.

Это отразилось на его дальнейшей судьбе: Сеня всю жизнь любил и оберегал женщин, но работал с сумасшедшими.